

Стихотворения и переводы

Автор:

Григорий Дашевский

Стихотворения и переводы

Григорий Дашевский

Книга представляет собой наиболее полное собрание стихотворений и переводов поэта, филолога и критика Григория Дашевского (1964–2013).

Григорий Дашевский

Стихотворения и переводы

I. Дума иван-чая

От автора

Стихи первого раздела – лирические, то есть написаны от имени некоего идола – от имени невинного и особенного «я». Невинность и особенность поэта остались от времени, когда он был слуга высшего или иного, то есть когда эти свойства были свойствами сана, роли, – но служение, утратив свой прежний предмет, обращается в идолопоклонство – и идол обычно похож на ризы прежних слуг.

Служение этому идолу почти всегда невольно и бессознательно; в него включаешься, начиная писать «просто стихи».

«Я» стоит за спиной пишущего и присваивает себе то, что он пишет; сам же он может думать, что пишет «просто стихи», что пишет их от собственного имени (что на самом деле – очень трудно и потому редко) или по-прежнему от имени какой-то высшей силы («язык» и пр.). Примерно так: выходит дама и объявляет: «Петр!

Ильич! Чайковской! Ария Гремина! Исполняет имярек». – И все, что после этого будет сказано или спето, хочет того имярек или нет, слышал он это объявление или нет, будет арией Гремина – в нашем случае арией «я». «Человеческое я» участвует здесь как во всяком исполнительстве – внешностью, тембром, манерой; не отменяя сюжета оперы, программы концерта.

Лирическая иллюзия собственной невинности и особенности поддерживается и внепоэтически – во-первых, фарисейством любого самосознания; во-вторых (в русском языке), тем, что про себя как целое, как страну люди здесь думают – «мы особенные и невинные; хуже, чем себе, мы никому не сделали». В этом смысле можно сказать, что здесь любые лирические стихи – одновременно и гражданские.

Все «я», взятые изнутри и поодиночке, невинны и особенны, а взятые извне и скопом – виноваты и одинаковы. Естественно, само это сознание своей невинности и особенности – необходимый результат действия тупого и жестокого механизма, в который как детали эти «я» включены и который из них только и состоит. Твердые винтики и должны считать себя незаслуженно страдающими цветочками (механизм же имеется уже там, где есть хотя бы двое – а двое есть всегда). Лучшее, что можно сделать, – от этого идола просто отойти. (Но при этом есть риск, что «я» окажется в зоне священного умолчания; так происходит при искусственном конструировании говорящего персонажа – лиричность витает около любых масок, только уже не в многословии, а в благоговейной тишине.) Но отойти может тот, кто не считается с правилами. А правила здесь – такие же, как с икотой: сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова – на всякого.

Соответственно, второй раздел – это переход от отдельного и внутреннего к совместному и внешнему.

Но это переход от иллюзии не к правде, а к «правде», то есть к трезвому рабству у той же иллюзии, потому что все содержание по-прежнему порождается только ею – у «правдивого взгляда» нет другого предмета, кроме предыдущего тумана. Здесь говорится не: «за этим туманом вот что на самом деле», – а: «это всего лишь туман, он плотный, редкий, серый, розовый и пр., и вот почему на нем мерещатся картинки». То есть по-прежнему изображается только видимость, но теперь как видимость, а не как реальность.

Образцом здесь служат одномерные слова и фразы вроде «здравствуйте» или «спасибо» – но именно образцом, а не предметом обыгрывания или разоблачения, поскольку обыгрывать или разоблачать здесь нечего – все и так видно. Они же – общие слова, то есть те, которые заведомо принадлежат всем и которые поэтому одинаково смешно и ставить в кавычки, и считать своими собственными. Их лучше всех знают дети, у которых взрослые спрашивают: «Что сейчас надо сказать?» или «Как это называется?». И эти же слова – то небольшое правильное, которое уже есть у каждого и которое поэтому можно не придумывать и не искать.

1. Стихи 1983–1994

«Никогда не коснусь...»

Никогда не коснусь

виденного во сне.

И опять засыпаю.

Волосам тяжек груз

рук и воздуха. Падают снег.

Я наружу гляжу из сарая.

Сквозь проем мне видна

белая и без окон стена,
и в ней есть
ниша, чья глубина
неясна зрителю сна,
потому что для зрячего света
плоскими стали предметы.

В этой нише висит вверх ногами
мальчик. Мальчика твердое тело
слито с известью белой,
будто слабое пламя —

с воздухом. Рот и глаза
оторочены черной каймой.

Рассекает мне руки обрез золотой
книги тонкостраничной, откуда им взят

образец его казни. Я знаю:
через час,

этим мальчиком став, закрывая
умирающий глаз,

ты исчезнешь. И не уклониться
от рисунка на острой странице,
если только я сам
не раскрашу его. Волосам

тяжек груз посветлевшего воздуха. Блюдце

с высохшей кожурой мандарина
потускнело. Проснуться
и увидеть: окно не светлей
смятых простынь и делится длинной
полосой населенных камней.

Бледный блеск их неровных отверстий
неподвижен под утренней твердью.
Осыпается снег с ее белого края.
И опять засыпаю.

И, по пояс в реке
теплой стоя,
наклонившись туда, где река,
в темных складках песка
тебя вижу живую
и такую же кожу плеча своего я,
просыпаясь, целую.

Декабрь 1984

ПАмяти Н.А. Куна

Одиссей у Калипсо (1)

Близкий голос во мгле: Одиссей.

Он кивает, молчит.

Его руки как будто слабей

темноты. Он укрыт

темнотою, текущей из глаз

чьих-то вниз, из глазниц

в узкий и поддающийся паз

там, поблизости. Лиц

не видать, незаметен пробел

между нею и им,

словно издали кто-то глядел

на стан статуи, грим

света снявшей и спящей в тоске

с тенью, с тенью своей.

И наутро, когда вдалеке —

моря шум, Одиссей

клонит голову вниз, потому

что вчера зачерпнул

утлым черепом мглы и ему

скучен пристальный гул.

Январь 1983

Одиссей у Калипсо (2)

Он шел, влача сухою пылью
останки тонкой тени, кроме
которой только холод тыльный
остался утром от проема
ночного в пустоту, как будто
в укрытую от света смерти
плоть, застланную телом, гнутым
согласно снившимся отверстиям
уст, лона, бедрам, ребрам, шее,
ключицам, – так и тень хромя
к суставам праха льнула млея,
души лишь контур сохраняя.

Август 1983

Дафна (1)

Свинцовым острием, гонящим
из тела голос, тело – в лес,
пронзенная исчезла в чаще
седых, прямых стволов и здесь
хранима страхом обнаружить

взамен пленившей плоти, чье
сиянье умножалось стужей,
землею твердой и свое
приумножало безразличье
на узком, сумрачном пути
разлучной травли, – только птичью
неуловимость глаз, почти
невидимых, чей молкнет щебет
в ветвях глазниц, и, по живым
ветвям стекая, слезы лепят
кору из льда, но ствол храним
не ею, тонкий стан замкнувшей,
текущей всё еще с лица,
а страхом, пронизавшим душу
изнеможенного ловца.

Декабрь 1983

Иксион

Он летит одиноко,
от прозрачного жара,
от назначенной кары
корчится в колесе.

Помнит мнущееся от вздоха
из сиянья, из сумерек одеянье,
облекавшее всех
тонкой тканью.

Голубая и золотая
ткань истлела. Ее изглодали
черви очей,
в небо с лица уползая.

Жар едва ли сейчас горяче?й
прежней, ранней печали,
жившей в черепе белом —
в расщепленной своей колыбели
и в могиле своей.

След слезы, текущей вдоль лица,
подо льдом мерцал,
отражая ясный блеск,
проникавший сквозь тонкую кожу
сном смеженных небес
в тесноту воздушного белка.

Озаренный явью сон
был пронзен
призраком порожним,
как отверстием зрачка

в облаке из радужных пелен.

Началась весна.

И не пряча веры ранней,

бодрствуя в пещере сна,

он вдыхал и пил зиянье,

а тому была тесна

плоть во льду воспоминаний.

«Чем зорче ты в чужом бреду,

тем легче он тебя морочит.

О, дай, я тоже ночь найду

или откройте небу очи!

Отверзлись небеса, и в щель

забытое вползает пламя,

по граням пепельных вещей

сверкая ветхими огнями.

И я увидел, всё в пыли,

лицо, горящее в пустыне:

его черты зрачок прожгли,

моей сетчаткой став отныне,

изнанкой тела огневой,

моею пламенной тенью.

Я заплатил самим собой

за жаркое приобретение».

Январь – март 1984

Одиссей и сирены

По путям воздушным, белым
прогремев, сирены пенье
проникает твердым мелом
в душу в узах слуха, зренья.

Мне невыносима жесткость
голосов, кроящих душу,
я хочу сухого воска —
мягче пустоты и суше,
чем слепые тротуары,
не разбуженные тенью
от мельканья мелких, карих,
воробьиных глаз сирены,
чтобы не крошился с краю
свет чужим и белым слоем
и свобода восковая
засияла тишиною.

Апрель 1984

Одиссей и Гермес

Посланец неба кроется то в прежних
краях боярышника, опускаясь
развилками вины и темноезжим
путем ствола в укромный, ранний ярус,
то за воздушным слоем отдаленья,
стесненного грядущею грозюю.

И облик летуна в тоскливом зреньи
на птичий и божественный раздвоен,
а он не различает: то ли болью,
то ли простором и листвой измятой
искажено лицо того, кто молит:
не раздвигай ветвей, времен зубчатых,
не покидай неровной душной дали,
дай силы в шаткий облик твердо верить,
пока видны отчетливо не стали
твой острый клюв и твои плечи в перьях.

Июнь 1984

Итака

Все ближе ночь. Закат на зданьях чертит

грядущие развалины. Проемы
и окна углубляет. Как водой,
теньями точит камни. Близость смерти
ста облаков блистательному сонму
пророчит. Точно пыли тонкий слой —
на крышах светлые следы провидца,
прочь от чужого будущего к дому
идущего, глотая голос свой,
в лучах которого кровь жирная струится
по латам золотым. Наружу голубые,
сырые внутренности. С плеч
скатились головы большие.
В глубоких ртах умолкла речь.

Зимою замерзают лужи
от зерен ледяных, по образцу
которых на асфальте коченеют.
Так и душе и плоти нужен
проникший плоть и платье и к лицу
приникший свет, которому роднее,
чем им самим, их будущее. Знаки
небывшей жизни выступят наружу,
как ложь сквозь строчки ветхого листа,
в потерю превратится пустота,
чужой песок – в Итаку.

То время, когда? не?куда идти,
и есть Итака. Если это вечер,
то, значит, вечер есть конец пути.

И рубище, скрывающее плечи
пришедшего, правдивей, чем
о будущем и прошлом речи,
не сказанные им. Никем
не сказанные. Дождь для похорон
на улицах готовит ниши,
уже заросшие травой.

И в длинных лужах видит он:
случайной жертвой неба нищий
висит вниз головой.

Он ростом с облако, размером
с потерянную веру
в то, что придет домой.

Мох, клевер, подорожник
сквозь кости проросли убитых,
и отражение вложено, как в ножны,
в асфальт и ржавчиной покрыто.

В оконной раме тает белый лед
грядущего. Пустеет тротуар.

И скоро бледнолицый пар
из синего стекла взойдет,

из комнатной волны летейских вод.

Взгляд возвращается к привычным
границам. В ржавых прутьях паутина.

Балконные перила в голубином
помете. Дикий виноград
свисает со стены кирпичной,
обвив похожий на себя шпагат.

Но мне ли, нищему и у чужих дверей
сидящему, сказать: я Одиссей
и я вернулся. Мне ли
сказать: я узнан. Песни пели
плачевные, и нынче льются слезы
по моему лицу. Я позван
облечь все то, что было прежде,
блестящей ледяной одеждой.

И сумерки из окон выдвигают
тяжелый, светлый отраженья ящик
и бледное лицо перебирают,
как связку писем, в пустоте лежащих,
написанных рукою незнакомой.

Ты на Итаке, но еще не дома.

Душа идет домой путями плоти,
одетой в белые лохмотья,

чтобы, придя к небытию,
сказать: я узнаю
и узнана. Оконная вода,
пар законных отражений
твердеют не в сияньи льда,
из тайной мысли ставшего явлением,
а в издавна соседствовавшей раме,
обнявшей жизнь смертельными берегами,
на чьем песке только мои следы,
неровные и полные воды.

Одежда ветхая прочнее прежней жизни.

Разъятого былого очертанья
сшивает ночь, как мертвая вода.

Чужая смерть – зерно твоей отчизны,
растущей из могильных изваяний,
из облаков, застывших навсегда.

Август 1984

Нескучный сад

Открытое кафе на Чистых прудах

В. С.

Взгляд отведя от воды, по которой черный
лебедь плывет, замыкая угол
пены серебряной, видишь снова
розовый рот говорящей: не то что покорны —
мы к ним относимся словно к слугам.

Небо над Ригою будто кусок иного
круга: светлее, чем здесь, и выше.

В паузах слышен
стук голубиных когтей о фарфор
блюдец со скользким кремом и чашек с кофейною гущей,
сахарный хруст на зубах у ребенка, сидящего рядом.
Кроме хрустальных, глядящих в упор
глаз и раскрывшихся губ, ничего здесь не сделаешь суше
или влажней. Полчаса, и идти уже надо.

И остановка трамвая у входа в пустой переулок
ближе на взгляд, чем окажется, если со стула
встать и стаканы картонные скомкать.

И становится твердым
камень, который казался бесцветнее дыма.

.....

.....

Зренье ни капли сиянья не выплечет жидким потемкам.

В бледной Москве

проступил осязаемый город.

Видишь, как сумерками распорот

шов между светом и тенью на камне, коре, рукаве,

как разрезано имя

зданий, деревьев, соседки? Она говорит:

Спичек не будет? Спасибо. Я не была здесь лет пять —

Сын вот родился, и все. А вы часто сюда? Не видали

Зебру, Дюймовочку, Старого? Ярче горит

черный табак, когда рот прекращает ронять

звуки и пепел – рука. Но слова пустоту освещали.

На красноглиняной тверди зажглись

желтые окна в глубоких квартирах,

синие лестниц пролеты с идущими вверх и вниз.

Так же поспешно звезда прибавлялась к звезде

на? небе свежем в четвертый день

существования мира.

Светлые слезы углов, теневые улыбки улиц,

вызванные зарей, забывающие зарю,

маскою став, отвернулись

к ближнему фонарю.

Влага, однажды в зазор

между зрачком и сидящей напротив

влившаяся, застилает лица
мимоидущих, непрочный узор
ряби в пруду и бледные ногти
молча сидящей. И как чешуя на зеницах —
ветхая пленка потопа,
ставшая цветом и снов и улиц,
блещет на дне кругозора, взглянув в чью пропасть
вещи от края ее отшатнулись.

Поздно. От ветра качнулись
волосы, тополь,
облако в тверди воздушной и в каменном небе белье.
Ночь заменяет на краткий лед
влагу былого, глаза окружая чужою и нежной
кожей, не веками и не вещами, слов не оставив между
губ, их лишая и звуков и цвета,
взгляд отведя от воды до рассвета.

1986

Нескучный сад (1)

Справа невидимая река.

Улицы гул по левую руку.

И муравей проползает по буквам

фразы: и царь, объезжая войска,

видел... Кленовая тень легла,

прорези неба легли на страницу.

Шелест послышится, и шевелится

плоский узор добра и зла,

спрятанный в книгу, если сквозь строк

поступь проникнет сандалий узких

в чередованье прозрачной и тусклой,

в шорох листвы о жесткий песок.

Лето 1986

Нескучный сад (2)

Пододеяльник всё светлее,

всё громче голоса ворон.

Очередной пропущен сон,

и тонкий утренний огонь

по краю белой рамы тлеет.

Сны, не замеченные ночью,

как позапрошлый год, могли

быть чем угодно. Пыли, мглы

и сна еще полны углы.

О раковину била звонче

застенная вода до света,
дыханье близкое слышней
ловило темноту, и в ней
сквозили звезды, чьих огней
во вдохах освещенных нету.

Лето 1986

«Скользкий кафель, известь цвета...»

А. Н.

1.

Скользкий кафель, известь цвета
легкого пепла изображают
скрытую ими
стужу снаружи, от стужи спасают,
как от лица чужого имя
или иней от света.

Кто не спит до зари, тот и скажет заря
иглам света в стекольном льду,
не о них, но о боли своей говоря
и о том, как отыскивал сон до утра

мнущей простыни, как в неувиденном сне

мну сухую траву сквозь снег,

и о том, как найду

то, что видел вчера,

то, что видят другие сейчас, —

череду оград

для чужих, для вчерашних глаз,

бесконечный ряд

оболочек ночи – белую розу.

Едкий как время воздух

шевелит ее, льется по венам,

шлет и тленье и шелест,

говорящий о тленьи,

розе, подснежной траве, человеку в постели.

2.

Приблизит тленье ли к цветку летящего

в траву сухую снега сухую

траву?

Найти ли, глядя в себя глядящего

и как после смерти стекло целуя,

Москву

и в щель

между дыханьем и отраженьем
просунуть голубоглазое лезвие?

Связать нельзя ли лица разрезанных
на тыл и лица зрением, временем
вещей

и их чужой, вчерашний их оборот?

Произнесет ли не по-немецки рот,
стекло туманя: тот человек, тот год?

3.

Которому вредно время.

Чем дальше взгляд, тем гуще темень
стекло, лгущих губным теплом,
закономным снегом лица,
тем правдивей свет
стен в изразцах.

Нет, невозможно, нет.

Боль ли сделает из плоти близнеца
снега и успеет убелить былое,
меж собою и виною
пустоту переступить?

Нет, невозможно пить

воздаянье как воздух губами, глазами ли

губы измучив
стеклами ночи
и глаза пропущенными снами,
говорящими: не верь, время не пламя
и не спасет от пламени.

Январь – март 1987

«Ты, воздух, всё свое лазурь, лазурь...»

Ты, воздух, всё свое лазурь, лазурь
о духоте, клонящей в сон меня.
И яви ни в одном глазу.
Мне трудно дышать тобою, лжецом таким.
Но солнце ест глаза,
словно оно – дым
от иного огня,
который будет гореть и уже горит.
Оно наклоняет мой взгляд в предлежащий прах,
словно оно – споткнуться страх,
словно оно – стыд.

1988

«Счастлив говорящий своему горю...»

Счастлив говорящий своему горю,
раскрывая издалека объятья:
подойди ко мне, мы с тобою братья,
радостно рыданию твоему вторю.

Сторонится мое и глаза прячет,
а в мои не смотрит, будто их нету.
Чем тебя я вижу? И нет ответа,
только тех и слышит, кто и сам плачет.

Сентябрь 1989

«Слабая какая перепонка делит...»

М. К.

Слабая какая перепонка делит
разведенный спирт и теплый вечер,
то гримасничает, то чепуху мелет.
Чем же ей потом оправдаться? Нечем.

Всё потом, потом – кто поставил в судьи
бедному сейчас невинное после?
Стыд заискивает перед тем, что будет,
будто чище спирт будет завтра розлит.

Август 1990

У метро

– Посмотри, не мелькнуло ли да
в как всегда опоздавших глазах?

– Нет, там карий закат, иногда
светло-карий же страх.

– Дай пройти ее тихим слезам,
фразам, паузам, пережидай,
как не тех, поднимавшихся там,
пропускал, пропускай.

– Но пока оно не раздалось
и пока я не встретился с ним,
от не тех, от молчанья, от слез
разве я отличим?

– Оттого-то с нее не своди,
словно с лестницы, пристальных глаз:
не блеснет ли оно посреди
снизу хлынувших нас?

– Ты как будто имеешь в виду,
что и клятва клянется придти
в сердце пообещавшей приду

около девяти.

- Для меня и для медлящих клятв

нету этого сердца милей:

так прилежнее, жалобней взгляд:

с ними свидимся с ней.

- Но привыкнув к навеки, к навек,

им и жизнь проволынить не жаль:

мил - не мил, что для них человек,

вздохи или печаль?

- Ждать и жить - это только предлог

для отвода неведомо чьих,

чтобы ты не спускать с нее мог

глаз невечных своих.

Сентябрь 1990

O what is this sound

(из Уистана Одена)

- Что это за звук, за дробь рассыпная

гремит в долине так рано, рано?

- Просто солдаты идут, дорогая,

бьют барабаны.

- Что это за свет, так больно сверкая,
вспыхивает всё ярче, ярче?

- Просто штыки блестят, дорогая,
блестят на марше.

- Смотри: одна колонна, вторая —
зачем собралось их так много, так много?

- Просто ученья идут, дорогая,
а может - тревога.

- Зачем они взяли дорогой другою,
слышишь: шаги их всё четче, четче?

- Наверно, приказ. Почему, дорогая,
ты шепчешь Отче?

- Они поворачивают, забирая
к доктору в дом, правда же, правда?

- Нет: ведь не ранен никто, дорогая,
из их отряда.

- Им нужен священник, я догадалась,
именно он - я права ли, права ли?

- Нет: ведь они и его, дорогая,
дом миновали.

- Значит, к соседу, живущему с края
нашего сада, нашего сада!

- Нет: они входят уже, дорогая,

в нашу ограду.

– Куда ты? Останься со мной, умоляю,
клятву нарушить нельзя ведь, нельзя ведь!

– Я клялся любить тебя, дорогая,
но должен оставить.

К дверям подходят, замок сломали,
по коридору скрипит кирза,
половицы гнутся под сапогами,
горят глаза.

<1990>

«Холодно и людно. Сказав прощай...»

Холодно и людно. Сказав прощай,
некуда уйти. Перемена поз —
вот и вся разлука. Перенимай
призрака привычку глядеть без слез

(все равно невидимых, лей – не лей)

в те глаза, где сам он не отражен:
только лица чужих и живых людей,
неподвижный поезд, скользкий перрон.

Сентябрь 1990

«За рекою делают шоколад...»

Д.

1.

За рекою делают шоколад.

На реке начинается ледоход.

И мы ждем от реки, но пока не идет

не троллейбус, но призрак его пустой —

свет безлюдный, бесплотный, летящий вперед

под мотора вой

и под грохот рекламных лат.

Нам не холодно, жди себе, стой.

Небо синее, и фонари горят.

2.

Каждой новой минуты как призрака ждать,

для него одного наводить марафет,

пудрить светом лицо – плохо держится свет,

а без этого грима ты неотличим

не от множества лиц, но от прожитых лет,

словно звезды далеких и легких как дым.

3.

Но от сладкого дыма, от славы небес,
как от книги, на миг подыми
заглядевшиися глаза:
как звезда ни сияй, как завод ни дыми,
у всего есть край: золотой ли обрез
или облака полоса.

4.

Отвернувшись от свадеб чужих и могил,
не дождавшись развязки, я встал
и увидел огромную комнату, зал,
стены, стены, Москву и спросил:
где тот свет, что страницы всегда освещал,
где тот ветер, что их шевелил?

5.

Поздно спрашивать: каждый бывал освещен
и распахнут на правильном сне
для расширенных, точно зеницы, минут,
невредимых, как дым или сон:
прилетают, блестят, обещанье берут:
помни, помни (прощай) обо мне.

1992

Дафна (2)

Д.

Память, ходи, как по парку прохожий,
хмурься, как злой белокурый идол,
строивший куры сменившим кожу
на шорох листьев и хвойных игл.

Нацепляя то те, то иные очи
искалеченных временем аллегорий,
помни только себя: курил, мол, ночью
на тусклом фоне чужого горя.

Белые вспышки и хрупкие линзы
жалости, давнего счастья, обиды.
Загнанной и бессловесной жизни
оцепеневшие виды.

Вдруг воспоминаний чужих прохлада,
общий шелест, кроме зевак и статуй.

Покачнись, заражаясь слабостью сада,
чем глазеть-коченеть под листвой, под утратой.

1992

«Как в бессонницу энный слон...»

Как в бессонницу энный слон,
по ночам мычавший: о сон,
ты ко всем успел, а ко мне?
ведь заря уже из-за кровель —
а ему ни намека о сне,
и не мерк над слонами твой профиль;
или очередной армстронг
по растянутой в небе Луне —
вон по той Луне, посмотри:
там на пальцах крахмальный до хруста
бледный наст, и сверкает как снег
борозда от тупых подковок;
и по масти, по жестам, по росту
он – душа скорей, чем человек,
бел, огромен, неловок,
человека спрятал внутри;
и как он, не совсем весом,
и похожие делая па,
и качаясь не сам, но несом
сквозь твоих локтей, вдоль лопаток

теми, комната кем все полней,
кто от наших же жестов рожден,
кто незрим, но на зримое падок
(все теснее, до астмы, толпа
хором шаркающих теней) —
с ними-то и топчусь в унисон,

будто к воздуху с кольцевой:
то на кафель, то в слякоть ступив,
в хороводе идущих домой
не сфальшивит нахал, ни тихоня —
роль забыта, но помнят мотив,
под который, рукав к рукаву,
к ворсу ворс, только взоры врозь,
эскалатор везет, как и вез,

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/dashevskiy_grigoriy/stihotvoreniya-i-perevody

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)